

Нина КРОМИНА

# ШТРИХ, ПУНКТИР, ТОЧКА

Мемуары

## ЧАСТЬ I

Ночь пугала темнотой, время от времени чёрное небо вспыхивало далёким тревожно-красным. Не спалось. Вдруг совсем рядом раскололось, сухо разорвалось. Дачный домик вздрогнул. Испугавшись яркого, огненного, нового треска за окном, задребезжавших стёкол, я спрыгнула с кровати, схватила в охапку лежавших на кукольной кровати тряпичного Васеньку, целлулоидную Катю и Олю с фарфоровой головкой и мягким телом. Пулей обратно, нырком под одеяло, к себе прижав. Зажмурилась. Защищая их, спасала себя. Как потом во взрослой жизни.

Ещё бился в окно ливень, где-то вдали глухо падали деревья, но дрёма уже баюкала, уводила в безмятежность и покой.

— Как сладко спит, — донёсся голос мамы.

— Смотри, она даже не пошевелилась, — добавил отец, поправляя одеяло.

### Мемуар 1. ПЯТОЕ МАРТА

Мои первые воспоминания относятся к пятидесятым годам прошлого века. В основном они, как и более поздние, сугубо частные. Но иногда связаны с историческими событиями. Хорошо помню утро 5 марта 1953 года. Сажу за обеденным столом, завтракаю, одна в комнате, которая у нас называется большой. Комната — проходная. Та, которая меньше, более интимная. Там мама, папа и я спим, мама чертит, я играю в кукольном уголке возле печки. В большой, за картонной перегородкой, спит, лежит на кровати, надев наушники, иногда что-то пишет за большим двухтумбовым столом дед. Квартира коммунальная. На втором этаже двухэтажного флигеля.

Это утро представляется мне сегодня тусклым, свет горел в комнате часов до десяти. Дед ещё спал, отец ушёл на работу, мама на кухне.

Встаю из-за стола, ещё не зная, чем заняться, как вдруг неожиданно открывается дверь из коридора, и, не раздеваясь, решительно в комнату входит муж тётки, на его лице я замечаю торжество. Следом, пытаюсь заглянуть ему в глаза, суется, быстрыми, мелкими шагами идёт мама. Стою невидимкой. Удивляюсь незнакомой, странной ситуации. Они проходят в запроходную комнату и закрывают за собой дверь. Стою оглушённая, непонимающая. Чувство, подобное тому, как год назад, когда умерла бабушка: будто деревянная, сейчас бы сказали — ступор. Может быть, это детское чувство смерти, остановившегося времени?

Спустя очень короткое время, дверь распахивается, и до меня доносятся слова, обращённые к маме: «Никто никуда не ходите! Возможно, будут открыты люки».

Лицо мамы кажется мне бледнее обычного, а закушенная губа чуть заметно дрожит.

### Мемуар 2. АБРАМЦЕВО

Лето играло солнечными зайчиками, прыгало по листьям, траве, разноцветным стёклышкам веранды. Родители сняли дачу в абрамцевском посёлке. «57-й километр» называлась тогда железнодорожная станция с высокими откосами по обеим сторонам от блестящих рельсов. От платформы к светлому терему мы шли меж тёмных елей, проходили светлую поляну. До музея, заповедника «Абрамцево», рукой подать. Родители составили мне компанию лишь раз-другой и заленились. Лишь Татьяна, папина сестра, приезжавшая по выходным, разделяла мой интерес, и мы шаркали с ней в безразмерных тапочках из зала в зал, угадывая, где сидела девочка с персиками, или, посматривая в окно, любовались парком, по которому не могли нагуляться. Однажды забыли на скамейке мягкую байковую кофту, которую тётушка привезла в подарок... Лето то радовало, то печалило... Как-то, когда я играла в саду с темноволосой девочкой, у которой ресницы вспархивали опахалами, вокруг дома поднялась суета. Хозяйка выставила на окошко небольших размеров приёмник, откуда разносился победный мужской голос, и взрослые, собравшись рядом, чему-то радовались, улыбались. А позже хозяйские мальчишки бегали друг за другом по поляне с возгласами: «Товарищ Берия вышел из доверия».

### Мемуар 3. МЕТРО

После болезни бабушка стала ещё меньше и тише. Во время прогулок со мной сидела на стульчике около дровяных сараев и с интересом наблюдала, как играют дети. Иногда она доставала из сумки какую-нибудь книжку с картинками, и тогда около неё собиралась кучка любознательных. Дома часто лежала на своей узкой кровати около изразцовой печки, и дедушка читал ей что-то.

Однажды мама вернулась из ежедневного тура по окрестным магазинам оживлённой.

- Чему улыбаешься? Встретила кого-нибудь из знакомых? — спросила бабушка.
- Нет, метро завтра открывают. Говорят, такая красотища...
- Я бы хотела посмотреть. Пойдём завтра?
- Тебе будет трудно.
- Потихонечку...

К удивлению домашних, на следующее утро бабушка поднялась, едва папа ушёл на работу. Подкрутила щипцами, которые долго грела на кухне в сине-фиолетовом пламени газовой плиты, седые жидкие волосы.

— О, да ты, я вижу, форсишь, — радостно заметил дедушка.

Все нарядились. Бабушка на вытертое пальто накинула связанную на коклюшках палантин, из-под беретки выпустила локоны, мама нацепила шляпку; дед надел поношенный, но ещё вполне хороший тёмно-коричневый полушубок, который ему подарили знакомые. Меня одели в синенькое пальтишко с сереньким зайчиком, сшитое бабушкой, валенки с калошами, на головку — пуховую белую шапочку. По дороге бабушка часто останавливалась.

— Надо вернуться, — говорили почти одновременно дедушка и мама.

— Нет, что вы, такое событие.

Сутолока у входа удивила нас и испугала. Неожиданно бабушка решительно шагнула в самую гущу зевак и, пытаясь что-то увидеть, всё тянула и тянула голову. Мама и дедушка едва поспедали за ней. В их ногах топталась я. Помню белый купол с ровным сиянием в центре...

На нас напирала со всех сторон. Кто-то вскрикнул. И тут, вырвав меня и бабушку из толпы, дедушка, голова которого возвышалась над зеваками, потащил нас прочь, на улицу. Следом выскочила мама...

Бабушке так и не удалось увидеть красоту подземного вестибюля, украшенного витражами. Вскоре её не стало.

Многие считают, что станция метро «Новослободская» — самая красивая! Я тоже так думаю, поскольку она — родная, и сожалею, что бабушке так и не удалось увидеть её прекрасных витражей и мозаики.

### Мемуар 4. ХРАМ

В детстве, проходя мимо заброшенного храма Александра Невского, что на Миусах, я невольно съёживалась. Он пугал тёмно-красной громадой с чёрными без стёкол окнами, тусклым, мерцающим над одним из притворов желтоватым огоньком. Силуэты людей, выходящих из дверей, мерещились мне крошечными и сутулыми, а фонарь, лязгающий на ветру, прибавлял страха. Так хотелось быстрее пройти мимо этого зловещего места. Мама же, лишая меня последнего покоя, отнимала руку и крестилась, как мне представлялось, слишком долго.

Этот храм хотелось обойти стороной. Я любила свой, Пименовский, светло-белый, летящий, знакомый и тёплый, наш, приходской. В нем и родственники, и соседи. А этот... этот долго били большой гирей, мячом отскакивающей от его исполинских стен. Вокруг собрались люди. Я с мамой, бабушка, её гимназическая подруга, с которой они при встрече обнялись и, кажется, заплакали, мой крёстный, кто-то ещё. Я смотрела себе под ноги, на носы коричневых ботинок, и храм уже не представлялся мне таким страшным, а его стены на глазах светлели. Когда в очередной раз по ним ударяла гиря, зажмуривалась. Теперь вместо страха от него был страх за него. «Бабка» Александра Невского не брала.

Однажды утром, часов в десять, раздался сильный взрыв, наш двухэтажный флигель задрожал. Я закричала.

— Что ты орёшь? — набросилась на меня мама и, добавив тихо: — Это Александра Невского взрывают, — вышла на кухню, закусив по своему обыкновению губу.

### Мемуар 5. КРАСНАЯ КОСЫНКА

Прошлой осенью я случайно оказалась в подмосковной Малаховке и вспомнила то лето, когда мои родители снимали здесь притулившуюся к двухэтажной даче открытую

террасу с крыльцом и две крошечные комнаты, напоминавшие купе. Проходя по улицам, зажатым между кирпичными заборами, я искала и не находила милые моему сердцу дома, украшенные резьбой, весёлые сады с лёгкими изгородями, травянистые островки в тупичках, где днём гоняли мяч, а вечером топтались под патефон...

В тот год родился брат, Жорик, и вся жизнь нашей семьи неспешно текла вокруг его младенчества. По утрам у крыльца молочница из ближайшей от дачного посёлка деревни переливала из банки в блестящий, ещё не потемневший алюминиевый бидончик козье молоко. Один стакан выпивала я, а другой, с чаем, мама...

Сама же дача, привлекающая внимание верандами и башенками, стояла, как будто отвернувшись от улицы. Лицом в сад. Прозрачный шатёр приглашал войти в распашные двери и вёл в таинственные покои, куда время от времени, взмахивая крыльями яркого платья, впархивала хозяйская дочь Ляля. Иногда она приезжала в выходные, иногда в будни. Чаще всего со свитой — мужчинами, женщинами.

Её родители жили в едва заметном скромном доме, скрывавшемся в глубине сада, за яблонями.

Отца, мужчину лет шестидесяти пяти, высокого, сохранившего не только военную выправку, но и привычку не выходить за калитку в штатском, я видела редко. Мать Ляли выглядела моложе мужа, но округлившаяся спина, тёмный платок, который она иногда повязывала, и суетливая походка выдавали в ней женщину, уже уступившую себя возрасту. Рассказы всезнающей молочницы об её увлечениях молодости удивляли дачников.

Моя мама, деликатно скрывая досаду, держала бидончик в руках и прислушиваясь к звукам из комнатушки, боялась пропустить детский плач. Она нервничала и то облизывала, то закусывала нижнюю губу. Пережитая война, потери, поздняя беременность, которую врачи долго принимали за опухоль, трудные роды, жизнь на тощую зарплату мужа — всё это изменило характер мамы и лишило нежности.

Брат вёл себя на удивление спокойно. Проснувшись, он лежал, разглядывая или бело-розовый фонарь с павлинами на потолке, или муху, ползущую по стене, или что-то видимое ему одному. И даже тогда, когда его будил гам, который привозила с собой Ляля, не кричал, а лежал и улыбался. Ляля, шумная женщина лет двадцати пяти, обычно являлась с компанией, их веселье перепрыгивало с куста на куст, застревало в листьях, отражалось в заборе, долетало до вершин сосен.

Ярко-красные Лялины губы, под цвет им косынка на голове, напоминающая революционный плакат, и голос, неестественно возбуждённый, прерываемый длинными и трудными заикающимися паузами, тревожил меня, а смех, переходящий в хохот, пугал.

Как правило, Лялины праздники проходили вблизи домика её родителей, но иногда она появлялась у нашей террасы, где росли высокие яблони с крупными наливными плодами. Изящная, в цветастой одежде, с корзинкой в руках, окружённая приятелями и приятельницами, она срывала яблоки, перекрикиваясь с кем-то и гогоча. Мне, время от времени наблюдавшей за ней, она казалась необычной, и я с интересом и настороженностью рассматривала её. Иногда замечала, что и Ляля с пристальным вниманием поглядывает на меня.

Как-то она подошла и спросила, как меня зовут. Но, не дождавшись ответа, засмеялась и побежала туда, где её поджидал «фотограф» — так я называла про себя мужчину средних лет с тёмными зачёсанными волосами, которые он игриво забрасывал назад, смешно дёргая головой. Этот мужчина напоминал мне фотографа из фотоателье на нашей московской улице, где мы с мамой однажды так и не дождались оплаченных снимков.

Ляля, которая в присутствии этого чернявого шумела больше чем обычно, почти скрылась за кустами и, повернув ко мне голову, крикнула:

— Х-хочешь, я подарю тебе косынку?

Я, конечно же, хотела и стала мечтать...

Однажды, зайдя за террасу, увидела, как «фотограф» мял Лялю и прижимал к забору, а она издавала странные звуки и шумно дышала. Испугавшись, я вбежала по ступенькам, натолкнулась на коляску, в которой лежал брат, и, чуть не опрокинув её, бросилась в комнату.

— Что ты носишься? — донёсся до меня строгий голос мамы. — Займись чем-нибудь. Порисуй, поиграй. Вот, — холодно произнесла она, протягивая альбом с раскрасками, — ты, наверно, не помнишь, что папа вчера тебе привёз. Не болтайся без дела.

И я, усевшись за крошечный столик, на котором стояли пузырьки и склянки с Жорикиными присыпками, взяла карандаши, лежавшие тут же, и стала аккуратно раскрашивать картинку с незабудками. Я так усердно водила карандашом по бумаге, что вскоре забыла и про Лялю, и про мужчину с тёмными волосами... Возможно, эта сцена и

вовсе стёрлась бы у меня из памяти, если бы на следующий день опять там же, в том уединённом месте, не произошло ещё более страшное событие...

Я сидела на террасе лицом к саду за столом, покрытым белой клеёнкой с голубыми цветами, и, отрывая от мотка ваты крошечные кусочки, плотно наматывала их на иголку, потом вытягивала иголку, и получался ватный жгутик, который мама называла гусариком. Иногда он выходил рыхлым, и гусарик приходилось переделывать. Теперь, когда мы проживаем уже третье десятилетие двадцать первого века, это занятие кажется странным, но в те далёкие годы многих современных понятий и предметов не существовало. Например, ватных палочек. Вот и крутили гусарики, чтобы прочищать младенцам носики, ушки...

Беззвучно колыхались вершины сосен, едва доносились отдалённые звуки железной дороги и младенческое старательное причмокивание. Покойно и умиротворённо.

Ляля, которая ещё вечером приехала на дачу с «фотографом» и одной из своих подруг, долго не выходила в сад. Потом почти бесшумно собирала смородину, которая росла вдоль забора. Ни яркой помады на губах, ни красной косынки, лишь растрёпанные рыжие волосы... Неожиданно к ней сзади подошёл «фотограф» и поцеловал в шею. Я видела, как Ляля вздрогнула и, повернув в его сторону голову, тут же отвернулась. Тихий голос мужчины будто что-то объясняя ей, приглушённо ворковал. Показалось, что он оправдывается перед женщиной, а та, опустив голову, беззвучно плачет. Спустя некоторое время до меня донёсся Лялин голос. С трудом, заикаясь больше обычного, всхлипывая, она спросила:

— Т-ты е-е-ё ль-ль-любишь? А я?

— Ну, и ты мне, конечно, нравишься. Ну, как человек. Ты весёлая...

— А к-к-ак ж-ж-женщина?

И, не дождавшись ответа, расплакалась ещё сильнее, уже навзрыд...

Не прошло и пяти минут, как из дома вышли всё тот же мужчина и Лялина подруга. Они быстро, почти бегом, шли по весёлой, с солнечными бликами тропинке, а Ляля, по-прежнему всхлипывающая у кустов, крикнула им:

— К-ку-да же вы?

Её подруга, не оборачиваясь, на ходу бросила:

— Так надо.

Мне от всего увиденного и услышанного стало не по себе. Я вдруг почувствовала, что мне очень жаль Лялю. Побежала в комнату, схватила альбом для раскрашивания и, вырвав страницу с уже голубыми незабудками, бросилась в сад, чтобы утешить... Сбежала со ступенек, обогнула террасу и увидела Лялю.

Она лежала на спине, её тело странно вздрагивало, запрокинутая голова дрожала.

— Мама! Мама!

Мама, подойдя с Жориком на руках к террасному окну, лишь взглянув на Лялю, быстро отнесла Жорика в комнату и, застёгивая на ходу кофту, побежала через сад к домику Лялиных родителей.

Почти тут же я увидела стариков. Запыхавшиеся, они стояли над дочерью и что-то делали с ней, а потом с помощью мамы, которая больше суетилась, чем помогала, понесли в дом. Вернее, нёс отец, лицо его побагровело, он натужно, с хрипом дышал, а его жена и моя мама лишь мешали ему, пытаясь поддержать Лялины ноги, которые болтались как у куклы. Я смотрела на них и чувствовала, как холод замораживает меня, сковывает. Увидев Лялино лицо, восковое с закатившимися глазами, я ощутила, что на какой-то миг сердце остановилось, а потом забилось быстро-быстро, и стало трудно дышать. Поднялась по ступенькам и поплелась в комнату, где на кровати лежал брат.

Вытащив из пелёнок ручку, он с усердием сосал большой палец. Глядя на него, я вдруг так встревожилась, такой испытала страх за его жизнь, что, желая загородить собою от всего, что нахлынуло на меня, пытаюсь защитить, обняла. Так мы и лежали рядом, запелёнатый младенец и девочка. Тихо. Лишь за стеной раздавался шёпот, вздохи.

Спустя некоторое время на террасе послышались шаги. Донесли голоса: глухой — Лялиного отца и другой, похожий на Лялин, только без заикания, — её матери. «Это всё война, контузия», — часто, будто извиняясь, повторяла она. Старики долго сидели у нас на террасе и что-то рассказывали, но я слышала лишь отдельные слова, несколько раз Лялина мать говорила: «Пойду, проведаю», — и тогда раздавался звук отодвигаемого стула и скрип половиц. «Всё в порядке. Спит», — слышалось через некоторое время, и взрослые опять о чём-то тихо-тихо говорили. В приоткрытую дверь я видела, что тени сосен, росших за оградой, стали темнее, а заходящее солнце розовой полосой отмерило вечер.

Задремала. Приснилась ведьма, утаскивающая меня в какой-то сарай за железной дорогой, тёмная платформа, всполохи красного. Я чувствовала, что цепкие жёсткие

пальцы с острыми ногтями сжимают руку и тянут, тянут за собой. «Мамочка! Мамочка!»

— Что ты орёшь? Жорика разбудишь и Лялю. У неё был приступ.

Мама наклонилась, взяла Жорика и пошла на террасу.

За ними вышла из комнаты и я. Уже тускло горели лампочки в бумажных абажурах, спускающихся с потолка, около них вились и падали безвольные ночные мотыльки.

Папа, недавно вернувшийся с работы, снимал с керосинки большое ведро, над которым поднимался пар.

Мне нравилось, когда в комнате включали рефлектор с ярко-красной спиралью, вносили цинковую ванночку и ставили её на два табурета, перемешивали воду, измеряя температуру специальным градусником, одетым в деревянный чехол, клали на дно лёгкую пелёнку и погружали в воду брата. Его головку отец укладывал на ладонь, большую и твёрдую, а мать осторожно водила намыленной тряпочкой по крошечному детскому тельцу. Брат шевелил руками, ногами, выпячивая красный, чуть вздувшийся живот, и казалось, что он плывёт.

Вдруг мама обратилась ко мне:

— Хозяйева сказали, что ты можешь собирать яблоки. Которые упали, — и добавила:

— Они самые вкусные.

И тут я вспомнила, как раньше, пока ещё не родился брат, мама часто рассказывала сказки, как катилось яблочко по серебряному блюдечку, и на блюдечке вырастали города, летали облака и сияло солнце... и захотелось яблока... А яблок в хозяйском саду, и вправду, было много. Красивые, светящиеся изнутри, с тонкой полупрозрачной кожей...

Утром, когда мама в одной из комнат кормила брата, я, как обычно, сидела за столом и, готовясь раскрасить понравившуюся картинку, выбирала из трёхэтажной коробки с витиеватой надписью «300 лет Воссоединения Украины с Россией», недавно подаренной папой, карандаш. Но тут на крыльцо, странно озираясь по сторонам, поднялась Ляля с корзиной яблок и, поставив её на пол, вполголоса проговорила:

— В-вот, кушай. А мама где? Кормит?

— Спасибо, — ответила я, слезая со стула. — Позвать?

— Н-нет, не надо, я к тебе пришла. Ходила в сад. Туфли вчера там посеяла. А это твоё? Потеряла?

И, вынув из корзинки, протянула листок со вчерашними незабудками.

— Это я в-вам хотела подарить, — почему-то тоже заикаясь, ответила я.

— С-спасибо. Возьму на память. Можно? А тебе в-вот от меня косынка.

Ляля достала из кармана широкой, доходящей до лодыжек юбки сложенную несколько раз красную косынку.

Мягкая, с обгрызенными уголками, со следами чернил и пятен, отглаженная, пахущая утюгом, тёплая ткань ткнулась в руку.

— Спасибо.

— Эт-то чтоб ты не потерялась.

Приложив палец к улыбающимся губам, быстро, будто опасаясь чего-то, Ляля спустилась в сад.

А я, стоя на террасе и расправив косынку, сначала рассматривала её, потом набросила на голову и пыталась завязать сзади, под косой.

— Что ты делаешь? Что это у тебя? — послышался недовольный голос мамы. — Косынка? Чья, откуда?

— Ляля подарила.

Выхватив косынку из моих рук, мама побежала по саду к дому Лялиных родителей.

Вечером папа привёз шоколадку в серебряно-синей обёртке. Он достал её из внутреннего кармана пиджака, и плитка пахла табаком, потому что он курил. Мне потом долго казалось, что у шоколада запах табака.

Вечером купали Жорика.

— Знаешь, — рассказывала мама тихим, незаметным голосом, намыливая брату ножку, — Лялю-то, оказывается, во время бомбёжки потеряли при эвакуации. А нашли уже после войны. И надо же, у матери ни царапины, а она... Они её сразу узнали. И не только по красной косынке. А она их — нет... Контузия. Когда в детском доме детей выводили к взрослым, ну, к тем, кто их искал, велели брать, что у кого от старой жизни осталось. Детей по вещам находили... Боюсь я эту Лялю. Сегодня тряпицу свою красную сунула и убежала. Я к родителям её ходила. А они говорят, а вдруг дочка ваша потеряется...

Папа вдруг побледнел, его рука, на которой лежала Жорикина головка, задрожала, и он бросил:

— Отдала? Не смей брать! Войны больше не будет!

И я удивилась, потому что никогда не слышала у папы такого голоса.

— Я и не взяла, — вполголоса, как обычно при брате, ответила мама.

Потом я разглядывала густое августовское небо с падающими звёздами, вдыхала аромат подмосковной ночи, запах сосен, яблок и слушала едва доносившийся голос железной дороги...

Через много-много лет я шла по незнакомой мне теперь Малаховке и вспоминала заикающуюся Лялю и Жорика, в коляску которого эта странная женщина незаметно подложила красную косынку. Вспоминаю и то, как уже после смерти родителей везла брата по дороге, у которой не было ни конца, ни края...

### Мемуар 6. СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

1 сентября 1953 года я растворилась. В мире белых фартуков, белых бантов, сутолоке детей и взрослых. Толпились, переминались, ждали. И наконец, из дверей краснокирпичной школы вышли три женщины с поднятыми древками: 1 «А», 1 «Б», 1 «В». Никаких церемоний и линеек! Выстроились и вперёд!

Наша учительница, Евгения Ивановна, в тёмно-синем костюме, бодро-строгая, глаза за стёклами очков — весёлые и добрые.

Цветы заполняют все подоконники класса, чувствую запах краски, яркий блеск свежеекрашенных парт радует, новые книжки, разложенные на каждой парте, восхищают! Я — на первой парте в третьем ряду у окна, а Оля (мы с ней иногда играем во дворе) — на одной из последних. Мою подружку, Полину, которая живёт в том же доме, что и я, записали в «Б». Но я не тужу, сейчас не хочется об этом думать.

Раньше, прогуливаясь с бабушкой возле школы, я видела, как девочки сбегают со ступенек, размахивают портфелями, переговариваются.

— Видишь, какие красивые у них платья, фартучки. Это школьная форма. — говорила бабушка, — и я такую носила, и тебе скоро сошьём, только уж я не увижу... — и как-то добавила: — Ты на могилку-то мою приди, так хотелось бы на тебя посмотреть...

Теперь же, попав внутрь здания, удивляюсь всему новому и интересному. Длинные коридоры, большие окна, в гардеробе — деревянные ряды вешалок с металлическими крючками, а под ними — отделения для галош. Но главное, конечно, книжки, тетради, светлый деревянный пенал с крышечкой, гармошкой, съезжающей вбок. В портфеле, кроме этих чудес, лежит небольшой коричневый мешочек из сатина для завтраков. Сегодня там яблоко. Но мне не до него!

За партой рядом со мной сидит Ира Фукс. У неё крошечные пальчики, которыми на первом же утреннике она будет играть на пианино, сейчас же она делает всё невпопад, открывает и закрывает крышку парты, когда все сидят, сложив руки, ищет что-то в портфеле, развязывает свой мешочек. Только и слышно: «Фукс! Фукс!»

Через ряд, у стенки, но ближе к проходу, Катя. Мне кажется, что росточком она даже меньше меня и Иры. У неё светлые глаза и тоненькие косички, уложенные на затылке корзиночкой. Форма не шерстяная, как у меня и Иры, а штапельная. Позже я узнаю, что Ира живёт в новом доме, в отдельной квартире, а Катя в маленькой пристройке. Все мы были очень разные, из разных семей, но этого не замечалось. Никто не кичился, не хвастался. Старательно выводили палочки, крючочки, декламировали стихи, рисовали, на уроке труда учились штопать и делать заплатки. Евгения Ивановна часто повторяла:

— Главное — чистота, аккуратность, чтобы воротнички и манжеты сияли белизной, а дырочка, если такая вдруг появилась, обязательно пряталась.

Весь первый год прошёл в радости. Помню, когда Евгению Ивановну вызывали к начальству, она просила высокую девочку, Лиду Перетрутову, почитать нам. Лида, когда пришла в школу, умела читать, да как!

Наступила весна. И уже все читали, писали...

А как-то в один из понедельников, когда православные ещё отмечали светлую седмицу и, собираясь на службу, пили чай с куличами, Евгения Ивановна вошла в класс особенно бодро. Веселее обычного блестели её глаза.

— Ха! Ха! Ха! Представляете, дети, наша Катя ходила куличи святить, смотрите на неё, вот смех-то! Может, она ещё и в бога верит? Встань, Катя, пусть на тебя все посмотрят.

И смеётся, весело так, задорно! Первоклассницы посмотрели сначала на учительницу, потом на Катю, потом опять на учительницу и тоже стали смеяться.

— Встань, Катя, встань!

Катя встала. По её лицу текли крупные слёзы, она не всхлипывала, не вытирала слёз, не размазывала их по своему милому круглому личику, а дети смеялись.

Сто лет прошло, а перед глазами Катя, самая маленькая в классе, стоит и плачет.

### Мемуар 7. ОГОНЁК

Во втором классе к нам привели мальчиков, и началось совместное обучение. Евгения Ивановна поставила их у доски, и мы, девчонки, внимательно рассматривали незнакомцев. Конечно, мальчишки не больно какая невидаль: сколько казаков-разбойников, горок, лапты сыграно вместе! Но то там — во дворе — в непонятно какой одежде, на которую и внимания-то не обращали, шумные, растрёпанные, свои, а здесь... Мальчишки стояли тихо, кто-то переминался с ноги на ногу, кто-то по-дурацки хихикал, кто-то смотрел в пол или потолок. Витя, Юра, Руслан, Миша, Валера, Саша... Мальчиков наперечёт. Мне достался Юра, его посадили за парту рядом со мной. Симпатичный, с остреньким носиком. Его байковая форма выглядела помятой и уже чем-то измазанной. Он мне понравился, и я стала о нём думать. Но дружбы не получилось.

В середине года я заболела какой-то нестандартной болезнью. То поднималась температура, то становилось трудно дышать. Районный врач, женщина средних лет, сидя около моей кровати, долго копалась в справочнике «Детские болезни» и назначила постельный режим. Известный по всей Москве платный и дорогой врач-натуропат Виленкин, осмотрев меня, попросил маму записать его рекомендации в специальную тетрадь. Миндальное молоко, коктейли из свежавыжатых соков и ежедневные хвойные ванны. Завершая визит, он посоветовал: «Сохраните эти записи и покажите вашей девочке, когда она вырастет, чтоб знала, какой труд в неё вложен». И тоже предписал постельный режим. Бедные родители! Они выполняли все указания! Мяли, жали, тёрли на тёрке, выжимали соки через марлю. Вечером отец притаскивал в комнату детскую ванночку, ту самую, в которой купали братца, и, растворив в тёплой воде зеленоватую жёлтую таблетку, напоминавшую лето и сосновые перелески, запикивал меня в ванну. Потом я лежала на панцирной кровати, а папа читал вслух про нелюбимого мною инженера Гарина и его изобретение. Иногда мы работали с папой над рукописным журналом. Днём я сочиняла короткие — на полстранички — рассказы, а вечером папа подрисовывал к ним иллюстрации. Так я и валялась, развивая в себе лень и беспечность (делать уроки почему-то не рекомендовалось).

А однажды... Однажды после школы ко мне пришли мальчишки. Гурьбой. Особенно запомнились Витя и Коля. Витя — светленькие волосики, голубые глазки, невысокий и мечтательный, встав в угол комнаты, посмотрел на верх бело-глянцевой голландки с кругом медной задвижки и вдруг запел:

*Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:  
Чому я не сокіл, чому не літаю,  
Чому мені, Боже, тех крілеи не дав?  
Я б землю покінув І в небо злітав...*

Обычно Витя говорил скороговоркой, непонятно чему посмеиваясь, проглатывая часть слов, но, исполняя песню, так чётко и трогательно пропевал каждую букву, что я и сейчас слышу его ангельский голосок, и что-то пощипывает у меня в носу, губы подрагивают в улыбке, и я готова заплакать от любви и печали...

Следующим выступал Коля. Среднего роста, упитанный и краснощёкий, он уверенно одёрнул форменную тужурку, выставил вперёд ногу и запел:

*По долинам и по взгорьям  
Шла дивизия вперед,  
Чтобы с боем взять Приморье —  
Белой армии оплот.  
Наливались знамена  
Кумачом последних ран,  
Шли лихие эскадроны  
Приамурских партизан.*

Потом спел «Каховку»!

Он чеканил слова, притоптывал ногой и всё больше и больше краснел...

Вскоре после домашнего импровизированного концерта я пришла в школу. В этот день нас надолго задержали после уроков, объявив, что будут снимать для самого главного в СССР журнала! Сначала мы ждали. Потом в класс вкатили незнакомую нам технику, и началось: то сажали мальчиков и девочек вместе, потом рассаживали, пересаживали, велели то смотреть на доску, то писать, то улыбаться, то сидеть, не шевелиться с выражением серьёзности и строгости. Вдруг в класс вбежал низенький, толстенный фотограф, всех пересадил, щёлкнул и убежал. Всё закончилось. Нам обещали журнал и фотографии.

Мы уже стали забывать об этом, но, когда Евгения Ивановна принесла три журнала и раздала каждому ряду, чтобы посмотрели и вернули ей, все стали тщательно рассматривать обложку в надежде увидеть себя. Увы, на фотографии красовался только Витя и

за ним две девочки: я и Таня. Остальные персонажи оказались смазанными, и дети могли лишь с трудом догадаться, кто есть кто. Вон чуть заметна Катя, вон — Оля.

Придя домой, я отдала журнал маме. Она положила его на дно средней полки старинного комода рядом с моими светлыми кудряшками, завернутыми в пергаментную бумагу, и крестильной рубашечкой. При переезде всё это богатство затерялось, и то фото, которое вы видите, я отыскала в интернете. Ему шестьдесят шесть лет.

### Мемуар 8. ИСТРА

Река никак не могла нащупать свой путь: путалась, петляла, вдруг неожиданно круто развернулась и, нарисовав странно изгибающийся силуэт, побежала в обратный путь.

Я стою на мостках среди заросшего берега Истры. В густой зелени нет-нет да блеснёт прежнее русло этой холодной, не всегда добродушной реки. Забрасываю мяч в воду и плюхаюсь, спустившись на нижнюю ступеньку. Я ещё плохо плаваю, поэтому время от времени приходится, ухватившись обеими руками за моего красно-синего спасателя, барахтаться и, с трудом сопротивляясь течению, нащупывать вязкое илистое дно. Иногда я прихожу на реку одна, чему очень рада, потому что тогда между мной, рекой, кустарниками и небом возникает любовь. Чаще, с братом на руках вслед за мной, спускается к реке мама или мои двоюродные сестры: Лена и Таня.

Изба, в которой мы живём этим летом вместе с семьей маминой сестры, стоит на берегу реки, поэтому, несмотря на прохладное лето, мы то и дело бегаем к мосткам. Так я становлюсь русалкой! По выходным приезжает папа, и тогда я превращаюсь в лесную диву, поскольку мы уходим с ним за большую крутолобую поляну, пересекаем мелколесье и скрываемся в дальнем лесу. Грибы, ягоды, букеты лесных цветов. Как-то мы наткнулись на разрушенный блиндаж. В нём — следы войны: телефонные аппараты, ну знаете, такие, с крутящейся ручкой, патронташ, разбросанные гильзы. Глаза у отца разгорелись. Он обходил находки и справа, и слева, заглядывая внутрь рва. Строго посмотрев на меня, попросил ничего не трогать. Чувствовалось, он не прочь исследовать, что там и как. Но поглядывая на меня, не решился. А только всё смотрел и смотрел вниз. Очевидно, вспоминал фронт, войну. Не в этот ли раз, возвращаясь домой, он начал и быстро оборвал свой короткий рассказ о войне, о первом бое, о куриной слепоте и морошке, которая его исцелила на далеком от Истры Волховском фронте, о наших катюшах и их фауст-патронах... Да, война была повсюду. И здесь, в Подмосковье, и там, в далёком далеке, и в Москве.

Мама рыла окопы, во время бомбёжек залезала на чердак нашего дома, где в углу долго лежала куча песка для тушения зажигательных бомб, выезжала с Владимиром Нечаевым на фронт с концертами для военных, после работы на заводе бежала на радио, где пела для москвичей и арии из опер, и русские песни. Дед бессменно дежурил на Мосводопроводе, он работал там старшим инженером, а в короткие часы отдыха валялся на своей кровати в закутке, отделённом от комнаты буржуйкой. Как-то при очередном налёте осколок бомбы, прострочив дубовые брёвна нашего флигелька, оплавил оконное стекло, просвистел над дедовой макушкой, пробил стену в коридор и вылетел через противоположную стену дома.... Шла война и в рязанской деревне. Там, выехав к свекрови на лето, зимовала мамина сестра с тремя детьми, выменивая на последние вещи что-нибудь съестное, чтобы накормить детей. Для этого ей приходилось переходить через глубокие овраги, в которых частенько встречались волки, в соседнюю деревню, где жили побогаче...

Да, в моём детстве недавняя война чувствовалась во всём, фильмы о ней, книги, рассказы, даже воздух казался сотканным из неё. Я часто видела сны о войне, пряталась от немцев и даже выработала правило: не смотреть на них, если тебя ищут, поскольку взгляд притягивает. Когда же в Завидове, где с некоторых пор наша семья стала проводить отпуска, случился первый пожар и, взрываясь в воздухе, с грохотом разлетались обломки шифера, я, уже взрослая, пережила ужас не пожара, а войны...

### Мемуар 9. ДЕД

Дед, Георгий Константин (да, два имени, правда, этого второго имени мы, его внуки, долго не знали) Гофман, пенсию, как и все советские пенсионеры, получал нищенскую. Но это никак не отражалось на его самодостаточности. Бодр. Уверен в себе. Если же надевал френч с барского плеча — подарок жены именитого сановника, то уж и говорить нечего. И лишь довоенное драповое пальто, которое он носил в ненастные осенние дни, сутулило его и старило.

Под вечер дед переходил Новослободскую, направляясь на прогулку. Так он озвучивал свое скорбное сидение в сквере у пожарной каланчи в Сущёвском тупике, где когда-то познакомился со своей будущей супругой, моей бабушкой Еленой Николаевной. Иногда к нему подходил маленький старичок: борода острым клинышком, пенс-

не; иногда мужчина среднего роста, тоже пожилой, с палочкой и хлюпающим протезом. Все они когда-то были женаты на сёстрах, проживающих в доме Овчинниковой<sup>1</sup>...

Помню, и я, болтая ногами, сидела на этой же скамейке и наблюдала, как выскакивали из ворот пожарные, разматывали и сматывали упругие резиновые шланги, повторяя эти упражнения бесконечное количество раз, пока главный, взмахнув рукой, не давал отбой. Иногда пожарные, запрыгнув в машины, срываясь, уносились куда-то.

Рядом с пожарной частью находилось сущёвское полицейское отделение. В нём, как в пересыльной тюрьме, в 1909 году содержался В.В. Маяковский, проживавший в то время на Божедомке (на этой улице в детстве жил и Ф.М. Достоевский), в это учреждение отправляли в молодости свои прошения моя бабушка и её сестры с весьма странным содержанием: сменить подданство. Дело в том, что среди их предков по мужской линии затесался никому неизвестный великобританский подданный, и этого оказалось достаточно, чтобы в документах всех последующих поколений сохранялась эта чудная приписка, создавая массу неудобств, например, при трудоустройстве. Потому-то леди и писали свои бумажонки. Судя по всему, их просьбу уважили, как и просьбу В.В. Маяковского о дозволении ему прогулок, как прочим заключённым. Сейчас в этом здании — музей МВД. Минутах в пяти — музей Достоевского, Антроповы Ямы<sup>2</sup>, где когда-то мама с Жориком ловили циклопов для аквариумных рыбок, и много прочих достопримечательностей.

Пока мы жили на Новослободской, вся округа от Тверской до проспекта Мира ложилась мне и моим близким под ноги, и мы частенько совершали прогулки, чаще всего за Садовое кольцо.

До Каретного ряда, где рядом с Эрмитажем жила со своим семейством мамина сестра, тётя Зина, добирались либо на троллейбусе, либо пешком через Краснопролетарскую. За многоэтажным домом, на первом этаже которого впоследствии разместилась кибиблиотека, сворачивали во двор. В двухэтажном доме, почти примыкавшем к эрмитажной стене, на втором этаже они и жили.

Позже их переселили в Воротниковский переулок, бывший усадебный дом<sup>3</sup>, туда добирались переулками через Миусы, если хотели прогуляться подольше, а если лентяйничали — через Каляевскую (ныне Долгоруковскую). Многолетие близкой жизни расплескалось позже, когда москвичей расселили по спальным районам. А до этого шастали друг к другу почти ежевечерне, завершая моционом трудовой день.

Подумалось, что не всегда наши визиты были кстати. Иногда приходили, а в доме готовились ко сну, расставляя посреди большой комнаты, разделённой старинными шкафами на зоны, раскладушки. Пирогои же на дубовом столе, стоявшем под бронзовой дамой с обнажённой правой грудью, дожидались гостей, приходивших к вечернему чаю, часов до десяти. Ватрушки, лимонники, пирогои с вареньем, разносортные, непохожие друг на друга чашки, серебряные гнутые ложки. Хозяйка дома — наша тётушка, тётя Зина, в каком-нибудь лёгком халатике, с уже отпущенной из пучка косицей, — пробиралась на крошечную четырёхметровую без окон кухню, где на газовой плите разогревала чайник. Удивительно, как она ухитрялась в столь стеснённых условиях готовить, мыть посуду, стирать. А готовила, или, как теперь говорят, стряпала, она не только пирогои: её многочисленное семейство отличалось привередливостью: кто-то отдавал предпочтение бульонам, кто-то овощным супам, кто-то лапше. Но сдобу любили все. Никто, как тётушка, не мог испечь или нажарить груды пирожков с начинкой из капусты или мяса, никто не подавал к столу таких полупрозрачных блинов, ожидавших на масленицу под подушками и одеялами задержавшихся визитёров. Никто, как она, не снабжал расхаживавших по домам после обильной трапезы гостей пирогами и блинами. Вот оно — московское хлебосольство.

Хотя в других семьях наших родственников подобного я не встречала. Везде преобладала умеренность и скуповатость. Пожалуй, только бабушка мужа пекла по праздникам такое количество сдобы, но то — в праздники, а у тётя Зины мы могли за ежевечерним чаем испробовать много всякой всячины.

Конечно, приходили мы не ради чая, в их доме нас всегда принимали с лаской, одобряли улыбками, объятиями, но как сказать, как сказать... Приходили, целовались, присаживались к столу, выпивали по чашечке и, посидев немного у черно-белого телевизо-

<sup>1</sup> Овчинникова — владелица доходного дома.

<sup>2</sup> Антроповы Ямы — название местности в Москве в XIX — начале XX века в районе современной Селезнёвской улицы. В настоящее время имя местности сохранилось в названии природного комплекса №102 ЦАО — сквер «Антропова яма». Местность была названа по фамилии первого арендатора и вначале состояла из пустыря и прудов, используемых для разведения рыбы. Кроме того, воду из этих прудов использовали для парных на Селезнёвской улице.

<sup>3</sup> Одноэтажный деревянный дом с трёхконным мезонином находится по адресу Воротниковский переулок, дом №10, строение 2.

ра, у которого наша тётушка, как правило, клевала носом, перекинувшись с обитателями дежурными фразами, собирались в обратный путь.

А дома — в койку, где после вечернего променада по московским закоулкам спалось легко и сладко. Но не всем. Мама притаскивала на обеденный стол чертёжную доску, тушь, линейку, циркуль, рейсфедер, бумаги, кальки и работала часов до двух-трёх. Иногда, если это были так называемые обтяжки, она приносила низкие и широкие «ванночки», хорошо знакомые фотографам, и, приготовив нужные растворы, «купала» чертежи, используя для просушки все возможные стеклянные и зеркальные поверхности.

Долго бодрствовал и дед. Он часто сидел в своём закутке за письменным столом и писал что-то, но обычно, полулёжа на высоких подушках, слушал радио. Перед дедушкиной кроватью на стене висели фотографии его родителей и распятие, поскольку крестили его в протестантском храме Петра и Павла...

Перед смертью, с лёгкой руки Никиты Сергеевича, пенсию деду повысили, и он успел сделать мне царский подарок: светло-бежевая «Ласточка» с радужной сеткой на заднем колесе, фонарём и лёгким ручным тормозом, надолго стала мне верным конём, уносившим за леса, поля и горы...

Мне бы хотелось, перебирая пазлы, кружить и кружить в детском, лелеющем душу мире, но пора и честь знать, перейдя к описаниям более позднего времени.

## ЧАСТЬ II

### Мемуар 10. ПРИУГОТОВЛЕНИЕ

Оставив позади пионерские костры и горны, я перехожу ко времени более осмысленному, в котором мой школьный приятель Витя уже не искал сокола в небе, а бродил с понуро опущенной головой, не смешил себя и других прибаутками, пребывая в молчаливо-отрешённом состоянии. Другой мой одноклассник, Коля, которому, как и другим, сунули комсомольский билет через узкое оконце, долго выглядел нахмуренным и даже написал возмущённое сочинение об этом.

В школьной системе произошли изменения, и от нашего класса осталась только буква и цифра.

В СССР ввели профессиональную подготовку для школ, и одиннадцатилетка докатилась до нас. Это означало, что десятилетняя школа становилась одиннадцатилетней, и одновременно ученики получали какую-то начальную производственную ориентацию. Поскольку наша школа находилась рядом с Менделеевским институтом, класс «А», в котором я училась, объявили химическим. Вот тут-то и образовался в моей жизни изгиб, как у реки Истры, где я когда-то училась плавать. Только спасательного мяча не подвернулось...

В те годы химию объявили надеждой и опорой нашей страны. В школу рванули новенькие. А многие мои одноклассники ушли из школы, найдя себе по душе что-то иное. Оля перешла в Гнесинку, Валера в художку, Таня перешла в «В», где учили на библиотекарей, Катя и другой Витя — в техникум. Полина — в ШРМ (Школу рабочей молодёжи). Позже к ней примкнула и я.

Среди новичков сразу выделились дети из состоятельных семей, как сказали бы сейчас, мажорики. Мне представлялось, что они умнее, симпатичнее и смелее нас, и я впервые почувствовала себя... изгоем!

Приведу только один пример. Я понравилась одному мальчику. Из вновь прибывших. Он то провожал меня из школы, то дарил какие-нибудь милые пустячки, которые, как теперь понимаю, привозили его родители из-за границы. Однажды он подарил мне шариковую ручку, о которой я тогда и знать не знала. Подарок не оценила и продолжала писать красной авторучкой с плавающей золотой рыбкой, наверно, китайской, которую за год до этого мне подарил дед. Позже мальчик (увы, его имени я не помню) пригласил меня и других одноклассников к себе домой на день рождения. Дом, в котором он жил, отличался новизной, крепостью, большими окнами, широкой лестницей и бесшумным лифтом. Квартира — холлом, начинавшимся от входной двери, просторными комнатами и неожиданным видом из окна, за которым виднелся сад «Аквариум», Концертный зал Чайковского, «Сатира», в те времена известная как «Оперетта»<sup>1</sup>, и многое другое.

В одной из центральных комнат нас ждал накрытый стол. Хрусталь переливался. Из

<sup>1</sup> История возникновения здания Театра сатиры берется еще с далеких дореволюционных лет, когда существовал цирк братьев Никитиных. Потом, когда цирк из-за недостатка пищи для животных выехал, сюда въехал Московский мюзик-холл, потом из мюзик-хольного цирка образовался Театр оперетты, а уже потом — Театр сатиры.

свисающей люстры свет брызгал искрами в бокалы и фужеры на тонких ножках, в салатницы и менажницы. Блестел на блюдах с забугорными сервелатами, отражался на бутылках с иностранными этикетками. И никого из родителей! Просто сказка! Вечер прошёл пристойно, в рамках лучших советских традиций: мы вели себя на удивление тихо. Никаких тебе буги-вуги, танго и фокстрота! Часов в десять вечера пришли родители моего кавалера. Среднего роста и среднего возраста мама и высокий, красиво-безучастный папа с копной седых волос. Мама разглядывала гостей, словно в лорнет, а папа, едва перешагнув порог, подошёл к окну и что-то за ним пристально рассматривал.

Неожиданно мама посмотрела на сына повелительно и строго, обвела всех взглядом, и, повинувшись, сын подвёл к маме меня. Не помню, спросила ли она моё имя, но заинтересовалась, кто мои родители и где я живу. Потом медленно, внимательно глядясь, посмотрела на лиф, на воротничок, на оборки моего платья, потом перевела взгляд на юбку и почему-то весьма долго рассматривала отечественные туфли у меня на ногах (раньше, приходя в гости, надевали не тапочки, а туфли, которые приносили с собой). Потом окликнула мужа, и тот, на миг повернув голову в мою сторону, отвернулся, не озаботившись даже подобием улыбки. Этот мальчик-подросток, имени которого я так и не вспомнила, больше не провожал меня из школы и, помнится, даже не подходил.

Другие мальчики вели себя ещё более непредсказуемо. Один из них на школьных переменах не раз вываливал на пол содержимое моего портфеля, другой, из «старичков», выручал, запихивая всё обратно.

Время от времени рядом со мной за партой оказывался кто-то из бывшего «А», потом благополучно перемещаясь в другой конец класса. Никто из них не пел ни Каховку, ни что-либо другое.

Девочки тоже отличались от тех, которые учились со мной раньше. Староста перед учителями вела себя подобострастно, присматривая за нами взрослым взглядом; несколько девочек, учившихся раньше вместе в какой-то другой школе, эдакие шелапутки, царили на задних партах, не интересуясь прочими.

С учителями тоже не складывалось. Правда, работавшая в химическом вузе Екатерина Ивановна, которую язык не поворачивается назвать химозой, вела уроки так интересно, что невольно все охимичивались. С увлечением работали над проектами, связанными с практическими занятиями в Менделеевке, куда мы ходили каждую неделю.

До сих пор помню свой проект по производству портландцемента. На большом ватманском листе тушью я начертила схему производства (обратите внимание — без чьей-либо помощи), притащила пробирки с образцами. Доклад прошёл блестяще! Екатерина Ивановна похвалила и добавила, что не только в школе, но и в институте за такую работу следует поставить «Отлично». Почему-то особенной радости я не ощутила. Сделала то, что требовалось. А вот отец сиял! Я это видела по его глазам. Он работал в научном институте, который занимался проектированием предприятий по производству строительных материалов. И, фантазирую я теперь, сопрягал наши устремления воедино. Но... не получилось!..

Главным школьным уроком в девятом классе, думаю не только для меня, стала литература. Гуревич Семён Абрамович. Невысокий, плотного телосложения; стремительная походка, расстёгнутый синий плащ, под ним синий костюм; голова вперёд, нижняя губа выпячена; в руках потрёпанный портфель, в нём груда книг. Для всех и каждого. Налетай! А если этого мало, милости прошу на мансарду улицы 25 Октября (нынешняя Никольская). Две крошечные комнатки. Одна — побольше, книжная. Стеллажи и вдоль, и поперёк, и у окна, и навалом около стола. Вдоль одной из стен небольшая кушетка с небрежно брошенным пледом. На вешалке, зацепленной за полку, расправив плечи, синий пиджак, под ним голубоватая рубашка. Другая комната, совсем уж крохотная, жилая. Здесь чайник, дежурные чашки. И разговоры, разговоры, разговоры. Судя по всему, Семён Абрамович был знаком со многими известными москвичами. Помнится, в один из наших визитов, у него пил чай директор Ленинки (нынче Российская государственная библиотека). А однажды к нам на урок он привёл Сергея Михалкова, что в те времена казалось запредельным. Ещё бы, сам дядя Стёпа! Но пришёл он сопровождающим своего сына. Никита, примерно наш ровесник, только что снялся в фильме «Я иду, шагаю по Москве». Его интересовало общение, обмен мнениями. Оттепель. Заговорили о новом и по-новому.

Ходили и в «Известия», где тоже обсуждали фильмы. Так мы стали говорунами. Школьные задания удивляли новизной! Литературные проекты, которые предлагал Семён Абрамович, заинтересовали всех! Помню свой доклад по пьесам А.Н. Островского и, что очевидно сегодня звучит нелепо, «Сравнительный анализ четвёртого сна Веры Павловны и Программы КПСС». Думается мне, что Гуревич не сам придумал тему, но

она нас увлекла. Особенно в части стекла: многие тогда мечтали о воздушных пространствах зданий и помещений из стекла и металла. Хорошо помню экскурсии в литературные музеи к Толстому в Хамовники, Ясную поляну, к Достоевскому на Божедомку. И театр! Семён Абрамович, интересуясь театром, увлёк и нас (неудивительно, что одна из его дочерей, Анна Каменькова, стала актрисой).

Недавно из интернета я узнала, что жена Семёна Абрамовича рано умерла, и в те годы, когда мы учились у него, он жил вдвоём с Анной.

Вспоминаю Семёна Абрамовича с благодарностью и теплом. В тот трудный для меня год (болезнь отца, смерть бабушки) он не раз поддерживал и одобрял. То доброй улыбкой, то книгами...

\* \* \*

Отец пролежал в больнице несколько месяцев. (Конечно же, бесплатно и не по благу!) Операция состарила его, и десятилетняя разница между ним и мамой стала особенно заметна. Из бодрого, крепкого, когда-то спортивного мужчины он превратился в старика со всклокоченными седыми волосами и тонкими желтовато-серыми ногами. Я часто навещала его в больнице. Иногда, подходя к палате, у меня так колотилось сердце, а ноги становились такими ватными, что еле шла.

Мама ездила к папе каждый день, иногда оставалась на ночь. Мне без неё приходилось трудно, а брат дурачился, хватал за косы, затевал возню, используя меня вместо груши для боксёрской тренировки.

Если я просила помыть посуду, его лицо выражало крайнюю степень брезгливости, если вынести помойку, смотрел с негодованием:

— Будешь приставать, пойду гулять, к тётке перееду.

Этого допустить я никак не могла! Мама и без того чуть живая. А брат? Ну, что с него взять — поздний ребёнок. Иногда звонила мама:

— Ну, как у вас?

— А папа?

— Плохо. Температура опять за сорок. Я на ночь останусь.

Брат разговора не слушал, стоял рядом, пинал меня кулачками. Ему хотелось резвиться, а сестра взрослую из себя строит.

— Портфель собери!

А он:

— Хи-хи! Ха-ха!

— Дурак, дурак! У нас отец умирает, а ты... — тут уж брат в слёзы. И я его обнимать: — Не плачь, не плачь, миленький!..

Утром мама приехала из больницы и потащила его к отцу. Проститься.

Мальчишка (ему чуть больше восьми) как увидел коридоры, палаты, больных в обвисших пижамах, отца немощного, чуть живого, отвернулся к окну. А сосед по палате вышел.

Вскоре после выписки из больницы отец стал пенсионером. Теперь после завтрака он тщательно вытирал клеёнку, расстилал газету, надевал очки и читал.

Сейчас трудно сказать, откуда у него появился журнал с первой публикацией повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но она произвела на него такое сильное впечатление, что будто бы открыла глаза на то, что он видел и знал раньше, но ни видеть, ни знать не хотел. Неужели сомневался? Странно. Тётка, сестра отца, рассказывала, что их старшего брата за продажу часов англичанину арестовали и сослали на строительство Беломорско-Балтийского канала, где он, по словам заключённых, погиб под оползнем. Мне удалось узнать, что мой дядя, Белавин Владимир Алексеевич, действительно был репрессирован по политическим мотивам в 1933 году...

Теперь, когда о тех временах известно достаточно много, трудно представить, что ощущали те, кто узнали правду о ГУЛАГе, прочитав повесть А.И. Солженицына. Особенно если близким выпала сходная судьба. Думаю, что отец не только усомнился в социализме и разочаровался в нём, но почувствовал ложь, в которой жил, ощутил себя обманутым. Я помню, как он говорил, что теперь (после «Ивана Денисовича» и Хрущёвских съездов и Пленумов) для него осталась в жизни единственная ценность — это семья и дети (а ведь ещё недавно он был правоверным коммунистом! И общественное значило не меньше, чем частное!)

Для меня же образ человека в робе, с нагруженной тачкой среди неразличимых в своей массе фигур, всегда связан с картиной к стихам Н.А. Некрасова «Железная дорога» и ассоциируется с незнакомым мне, но близким родственником, братом отца.

Я ощущаю родственную связь и со своим дедом со стороны отца, Алексеем Александровичем Белавиным, ненадолго пережившим гибель любимого первенца. В последние годы жизни он искал утешения в своей первой любви, любви к математике, сочиня задачи для учебника, который никогда не будет издан. А до этого он учился в Пе-

тербургском университете, Императорском техническом училище (нынешняя Бауманка), на фабрике Морозова в Орехово-Зуеве, по приглашению С. Морозова, работал инженером по прядению; открыл частные общедоступные гимназии, сначала женскую, потом мужскую. Бюрократия в то время препятствие почти непреодолимое и открыть мужскую, оказалось не просто. Но создание Попечительского совета помогло, и гимназию открыли. Знаменательно, что в 1918 году после многочасового совещания приняли решение о продолжении изучения Закона Божьего, что, очевидно, послужило поводом к тому, что власти гимназию закрыли.

Удивительно то, что здание мужской гимназии сохранилось до наших дней, и в нём с 1992 года располагается Гуманитарный лицей, которым руководит Вадим Юрьевич Прилуцкий. На фронтоне здания в год столетия гимназии (2008г.) расположена мемориальная доска с упоминанием имени Алексея Александровича Белавина. Для меня было большим счастьем побывать в этом лицее, сохранившем не только стены, но парадную лестницу, зал, увидеть фотографию Алексея Александровича. Люди живы, пока жива память о них.

Но если дедушку со стороны отца я никогда не видела и его образ навеян фотографиями и рассказами его дочери, Татьяны, то дед со стороны матери жил вместе с нашей семьёй до смерти в 1962 году. Он прожил бы и дольше, если бы не спрыгнул со ступеньки троллейбуса, пока тот ещё не остановился. Ударился о бордюр и ночью умер от разрыва застарелой каверны.

Был он сух, костист, к старости сутуловат. На московской улице его голова возвышалась над прохожими, на даче — над вымахавшими кустами георгинов, над домочадцами, и мы издали замечали его. Глаза — как небо после ненастья, ещё не голубое, но уже не серое. Нос крючковат, в оспинках. Кадык упирался бы горбом в тугой ворот френча или мягкую старорусскую рубаху из деревенских припасов его старшей дочери, если бы не расстёгнутый ворот.

Родился он давным-давно — аж в 1882 году. Почему-то любил припевать «Тула, Тула, Тула я, Тула — родина моя», хотя крестил его пастор Дикоф в Москве, в соборе Петра и Павла. Нарекли Георгием Константином. Этого второго имени ни я, ни мой брат, ни соседи не знали, а звали просто Георгий Александрович, а его сестра Саша, то есть Александра Розалия, и моя бабушка, Елена Николаевна — его жена Лёлочка, — звали по домашнему — Жорж. Это имя ему очень шло.

Родители Жоржа жили в Петербурге, но по совету друга семьи, восприемника их многочисленных чад, аптекаря Иоганна решили, что детей пора спасать от непрекращающихся петербургских бронхитов. Конечно в Москве, где же ещё, лишь бы работу найти! А потому статский советник инженер-технолог Александр Георг и его супруга Екатерина Амалия, урождённая Сеппи, тронулись в путь.

Европейский Петербург, церковь святой Анны, могилы родителей — Карла и Вельгемины Екатерины, урождённой Рель; всеми любимый оперный театр, где служил капельмейстером Карл и мелькали милые родные лица, — всё навсегда осталось в прошлом. Не осталось следа от могил, от партитур сыгранных и несыгранных Карлом опер...

Никто никогда не узнает, откуда пришли эти обрусевшие Гофманы, какими были они, их близкие и не очень, например, г-н Георг Вейс, учитель музыки, или г-н Иоганн Эрнштремь, аптекарь, или девицы Каролина Гофман и Мария Гергардт, а также известный всем пастор Анненкирхе<sup>1</sup> М. Мориц.

В моей памяти нет-нет да появляется фигура деда или его старшей сестры Саши. В семье до рождения деда — только девочки. Кроме тёти Саши, Ольга Фредерика, Софья Екатерина, Виктория и Маргарита Антония. Хоть они и воспитывались одними и теми же строгими гувернантками, повзрослев, стали разными. Викторию и Маргариту объединяло музицирование. Они брались за всё: аккомпанировали, давали уроки, работали тапёршами в кинозалах. Постоянно болели, их донимал кашель, а туберкулёз, в который перешёл их детский петербургский бронхит, так никогда и не вылечили. Виктория (племянницы называли её тётя Витя) — тихая, мягкая, мечтала о замужестве, семье, детях. Но всех её женихов разметала бурная, непредсказуемая Маргарита Антония, в которую влюблялись с первого взгляда все претенденты сестры. Маргарита же над ними подшучивала, рисовала шаржи в скромном девичьем альбоме... Викторию и Маргариту похоронили на самом далёком кладбище. Теперь на этом месте — парк. «Ничего, — говорил дедушка, — в парке часто играет музыка, а они её так любили». Тётя Витя умерла тихо, а Маргариточку почему-то отправили умирать в психбольницу. Только и осталась в семье память — засушенная маргаритка в старой немецкой книге.

Цветок Ольги Фредерики к небу взметнулся, обернулся громадным родовым дре-

<sup>1</sup> Анненкирхе — евангелическо-лютеранская церковь святой Анны в Санкт-Петербурге. Среди прихожан этой церкви Карл Брюллов (в ней и венчался), семья Фаберже, Георг Фельтен.

вом с листьями вечными и памятью на века.

Дед — единственный мальчик в семье, а потому божок, ему разрешалось всё: в бо-тиночках на кровать, получать тройки, курить, съедать по две порции фисташкового мороженого, но, как ни странно, он не стал ни изнеженным, ни капризным, очевидно, русская жизнь к этому не располагала.

Девочек воспитывала гувернантка, она говорила с ними по-немецки, и их русский навсегда остался с акцентом. У дедушки же была русская няня Маня, что тебе Арина Родионовна: и сказки, и песни, — вот и стал для деда русский родным.

Окончил он Комиссаровское<sup>1</sup> училище. Хасан и Талпа, однокашники по училищу, приятельствовали с ним долго, Хасан — маленький и круглый, а Талпа — худой, выше деда; они заходили иногда к деду, и я разглядывала их с удивлением и интересом...

Служил дед исправно в разных технических должностях. До революции — Работный дом<sup>2</sup>. Рассказывали, что в феврале семнадцатого дед ходил с красным бантом и пел Интернационал. После ноября пришлось искать новое пристанище, не стало ни работы, ни дома. Жена, дочери — шести и восьми лет. Хорошо, кое-что женино удалось перевезти в маленькую каморку, что над аркой. Холодно, сыро, а всё-таки крыша. Над ними — Лёлочкина сестра с семейством, она и помогла с комнатой в доме, принадлежавшем когда-то большому клану Майковых, в котором все «от литературы»: кто издатель, кто литератор, а один — даже известный поэт. Поблизости, напротив пожарной каланчи, Лёлочкина мать, сестры незамужние, брат. Рядом — Пименовский храм. Жена с дочками, её сёстры в праздники, а когда и в будни — в родном приходе; младшая дочь Вероника — моя мама — в хоре. Священник, отец Николай, добрый, будто бы свой. Придут из храма, а папа им что-нибудь вкусенького припасёт, буржуйку затопит. Сам-то он в храм не ходил, протестантские церкви после революции закрыли. Но родительскую Библию, напечатанную готическим шрифтом, он берёт. Помню тонкий пергамент между иллюстрациями, сверкающими небесно-голубыми одеяниями и золотом нимбов. А распятие? Вырезанное из слоновой кости, в тёмной, почти чёрной раме, где бы дед ни жил, оно висело над фотографиями родителей.

Позже дедушка с женой и дочками перебрались на второй этаж флигеля: низ каменный, верх деревянный.

Осенью сорок первого принял дежурство в Мосводопроводе. В шутку ли, всерьёз ли кто-то, прежде чем брякнуть дверью, бросил: «Вам-то ничего не будет, а нам опасно. Переждать надо». С этого дня дед надолго забыл про бронхит, перешедший в туберкулёз, зарубцевавшуюся каверну. Дежурство сменяло дежурство, дома почти не бывал.

Позже, когда немцев отогнали от Москвы, случилась с ним какая-то болезнь, с которой якобы не живут. Сам Очкин<sup>3</sup> поставил ему окончательный диагноз и из больницы выписал. Только всё вышло иначе: гомеопатические шарики, которые давали деду просто так, без всякой надежды, прорвали что-то, и он ожил.

Смерть деда обходила. Не тронула она его и в деревне, куда в первое послевоенное лето привезла отца старшая дочь, моя тётя Зина, Зиночка. Струзили с поезда, перетасили на телегу, устланную сеном, тряпьем. Положили на кровать с набалдашниками, пружинным матрасом у самого окна, чтоб божий свет, лучом падающий на подушку, оживлял бледное после болезни лицо.

Движение листвы, свет, тени, запахи, звуки из окна (днём их всегда держали нараспашку) отрывали его голову от подушки, звали в сад, на раскладушку, с раскладушки — за калитку, где простор до горизонта и далёкие, прижавшиеся друг к другу, избы.

В грозу дед брал стул, открывал на террасе дверь, садился у самого порога так, что капли дождя нет-нет да и брызгали ему на лицо, руки, одежду. Домашние его ругали, а ему — хоть бы что. Хорошо ещё, если гроза с дождём, тогда, думали они, не так опасно, а если сухая... Как-то раз влетел золотой светящийся шар, покругил на террасе, заглянул в комнату, вернулся, повисел над дедом и отправился куда-то, растворившись в воздухе.

— Шаровая молния! Видишь, когда гроза, двери-окна закрывать нужно!

Но он своей привычки так и не изменил...

Последние годы дед прожил в том же самом закутке, где когда-то просвистел над ним осколок. Громадный двухтумбовый стол, в правой тумбе — пузырьки да хлам, а в

<sup>1</sup> Императорское Комиссаровское техническое училище — созданное в Москве в 1865 году техническое училище, основанное инженером Христианом Христиановичем Мейеном на средства богатого железнодорожного предпринимателя Петра Ионовича Губонина.

<sup>2</sup> Работные (рабочие) дома в России изначально создавались с гибридным подходом — как часть системы исполнения наказаний, направленная на изоляцию и принуждение к труду преступников, и благотворительная деятельность по предоставлению работы нуждающимся.

<sup>3</sup> Очкин, Алексей Дмитриевич (1886—1952) — советский хирург, доктор медицинских наук, профессор.

левой — всё бумаги какие-то. Любил дед вечерком, когда все улягутся спать, что-то писать. Над кроватью у него — карта СССР, самодельный календарь, там клеточки — красные, чёрные (чёрных — больше); маленькие фотографии детей, внуков, все под одной рамочкой, жена Лёлочка. Вот молодая, вот постарше — с вуалькой...

Наушники. У входа в закуток — полка с книгами по математике, черчению. (После болезни дед преподавал черчение и начертательную геометрию в техникуме). Но при мне он уже не работал, а просто жил.

Когда бабушка умерла, дед пришёл из больницы, сел на стул посередине комнаты прямо в пальто и долго сидел так, опустив веки и глядя в одну точку. А потом я увидела его глаза. В них уже не плескалась голубизна, а только серело, как в предзимье, когда дождь со снегом и день короткий. Обручальное кольцо, золотое, снял и отдал дочери. «На, — говорит, — мне теперь не надо, может, продашь». А потом он стал делать крест, прямо в квартире, в своём закутке, и все удивлялись, почему он делает лютеранский крест, ведь бабушка была православной. Но никто и рта не открыл, не посмел.

По-немецки он иногда говорил со своей старшей сестрой Сашей, которая до глубокой старости ходила в гувернантках в именитых советских семьях, где детей учили языкам и определяли на дипломатическую службу. Нам язык не достался. Считалось, что нам он ни к чему. Даже вреден. Иногда Саша приносила ему что-нибудь почитать на немецком, но чаще я его видела с «Известиями» или в наушниках.

Вечерами, когда семья собиралась за столом под оранжевым абажуром, он вместе со всеми пил чай. На его большой с толстыми стенками кружке веселились охотники, возвращавшиеся с добычей. Кружка пришла из какой-то доисторической, до моей, жизни, со сколами и мелкими трещинками. Никто никогда, кроме деда, из неё не пил, а после его смерти она исчезла вместе с френчем, молодцеватым полушубком и печальным тёмно-серым пальто, в котором он становился старым, сторбленным...

Со смертью дедушки закончилось моё детство и отрочество. Началась совсем другая жизнь. Теперь в утренние и дневные часы я работала, а вечером училась. Но иногда случались и выходные...

### Мемуар 11. ПЕПЕЛЬНИЦА

Как парижане высыпают на бульвары субботними вечерами, так и москвичи с незапамятных времён стирают в эти часы подошвы на Тверской. Когда-то эта улица носила имя писателя, от которого начинался литературно-исторический променад. От Горького, где кружилась вокзальная жизнь, к Маяковскому, Пушкину, Юрию Долгорукому, к самой Красной площади и, если у кого-то оставались силы и «мани-мани», круглосуточной «Пельменной». Юные обитатели окрестных улиц и переулков старались выглядеть не хуже золотой молодёжи. Летом это удавалось. Яркие попугаи и пальмы на рубашках, узенькие брючки, коротенькие юбочки и платья с нижними юбками, и в обнимку — на «Бродвей»!

Мой ареал начинался Маяковским и заканчивался Пушкиным. Ходила я — в одном из своих платьиц, сшитых тётей Таней: из венгерского ситца, рябом, бело-голубом или из жёлто-розовой жатки — со слесарем в светлой рубашке и тёмном галстучке-шнурке. Кажется, парень хотел на мне жениться, что в мои планы не входило. Я собиралась учиться. Но кто же откажется прошвырнуться с красивым парнем по «Бродвею»?!

Помню, у памятника Маяковскому собиралась молодёжь, и если удавалось протолкнуться к постаменту, мы видели и слышали настоящих поэтов. Среди них Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский! Это производило впечатление! Наполняло энергией!

И вот этот рефрен: *«Всё — кончено! Всё — начато! Айда, в кино!»* — давал такой сильный толчок к радости начать жизнь по-новому, что до сих пор верится в возможность этого.

Беллу Ахмадулину я увидела и услышала в Доме актёра. Лебединая шея «серебряной флейтой» устремлена ввысь, каждое слово сопряжено с его изначальным культурным смыслом и звучанием, выговаривается так, будто важна каждая буква. Четыре поэта, четыре непохожести, четыре вектора. Как трудно выбрать самого нужного тебе, твоей душе. Я выбрала Беллу:

*Это я — в два часа пополудни  
Повитухой добытый трофей.  
Надо мною играют на флейте,  
Мне шекотно от палочек фей...*

В споре физиков и лириков я не участвовала. И те, и другие витали в облаках. Я ходила по земле. Ни поэтом, ни шестидесятником не стала, но ощущала их своими старшими братьями, с которыми жила в одно и то же время, в одной и той же стране. Восхи-

щалась ими, пересматривая «Девять дней одного года», слушая пластинки Б.Окуджавы и В.Высоцкого. Песни Булата Шавловича тонкие, задушевные, наполнены таким глубоким лиризмом, что и сегодня печалат, радуют, вызывают ностальгию. Песни Высоцкого тоже не утратили своих смыслов. Жёсткие, ироничные, наотмашь. Голос, совесть времени — это он. Среди моего окружения песни Окуджавы и Высоцкого воспринимались разными людьми по-разному. Кто-то мог часами слушать первого, но второго воспринимал с трудом, его хриплый с надрывом голос раздражал. Конечно, таких было меньшинство.

Походы, песни под гитару, байдарки, к сожалению, почти прошли мимо меня. Удалось лишь несколько раз приобщиться к крутым тропам и рюкзаку, когда «волной набегая, тронул вальс берега»<sup>1</sup>...

Мой двоюродный брат Всеволод — вот кто заядлый походник! А я... лишь помогла отцу строчить для него палатку по польскому образцу.

Брат женщинам нравился. Высокий, ладно скроенный; чёрные волнистые волосы, и под цвет им — глаза. Лишь небольшой изъян: мягкие и пухлые губы, которые, повзрослев, он прятал под аккуратной бородой и усами.

Не знаю почему, но я в детстве мечтала получить от него подарок. И как-то, в самом конце весны, в то время, когда расцветают ландыши, сирень и каштаны и начинают петь соловьи, он подарил мне пепельницу, размером с небольшую розетку. И как только ему удалось найти для неё заготовку! Тонкое переплетение корневищ, кружевные очертания древесных волокон и прозрачный лак — просто какое-то волшебство. Парадокс, но я отнеслась к подарку довольно равнодушно! Правда, первое время часто протирала пепельницу и переставляла её с места на место. Но не прошло и двух лет, как ко мне, уже восемнадцатилетней, стали заглядывать в гости молодые люди. В отсутствие моих родителей они иногда покуривали и стряхивали пепел в ту самую пепельницу...

Однажды, когда состоялось какое-то семейное сборище, зашёл и брат, вернувшийся из очередного туристического похода. После бесед, винегрета, докторской и чая, он присел у моего стола, взял свою пепельницу, покрутил в руках, посмотрел на обожжённую древесину, остатки пепла, провёл по ним пальцем и взглянул на меня печально и недоумённо.

— Что это?

Я пожала плечами.

В тот вечер пепельница пропала. Больше я никогда её не видела, о чём теперь сожалею. Ума не приложу, куда она делась!

Да, вещь можно потерять, сломать, её могут умыкнуть, но остаётся память и, пока голова на плечах, «живут во мне воспоминания»<sup>2</sup>. О людях, вещах и датах.

Яркие вспышки: 12 апреля, 1961 год. Открыты настежь окна в классе, из громкоговорителей Менделеевки раздаётся ликующий голос диктора: «После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полёта...» — и мы, школьники, как сумасшедшие, несёмся на Горького!

9 мая, 1965 год. Тороплю отца. Он смущённо улыбается, достаёт из коробочки орден и медали. Разглядывает их, перебирает:

— Этот тоже? — спрашивает он меня и крутит в руках знак «Отличный разведчик».

— Ещё одну дырку надо делать.

Как мне хотелось, чтобы прикрепил и этот.

Но костюм почти новый...

Идём на Горького. Фронтовикам вернули День Победы!

А женщинам подарили ещё один повод для получения подарков и суеты на кухне: 8 Марта объявлен днём нерабочим.

Так в дома граждан и товарищей пришла новая эпоха: на престол взошёл Брежнев!

## Мемуар 12. АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

Для многих советских людей время текло однообразно и тускло: очереди на квартиру, за продуктами, импортной одеждой, поскольку отечественная шилась криво и косо. Всюду царствовал блат. Кому-то стало казаться, что нарушаются нормы партийной жизни, и они пытались доказать несправедливость. Вот тут-то на помощь с правдолюбями пришла психиатрия.

Помнится рассказ мамы о её знакомом, попавшем в психиатрическую больницу

<sup>1</sup> Строчка из песни «Голубая майга». Текст — Гарольд Регистан, композитор — Арно Бабаджанян, исполнитель — Юрий Гуляев.

<sup>2</sup> Строчка из песни «Пока я помню, я живу». Текст Роберта Рождественского, музыка Арно Бабаджаняна, исполнял Муслим Магомаев.

прямо с работы. Будучи начальником отдела, он пытался справедливо распределить премию между сотрудниками, не секрет, что за работу, выполненную подчинёнными, премии получало начальство, исполнителям причитались лишь утешительные призы. Отказался от своей премии с нулями, за что оказался в жёлтом доме. История повторилась дважды. Во второй раз состоялась доверительная беседа с врачом:

— Я понимаю, — якобы говорил врач, — вы боретесь за правду. Вы человек честный, и в современной жизни вас не всё устраивает, но эта борьба может причинить вам и вашим близким много горя. Если попадёте к нам в третий раз, я не смогу помочь. Очень прошу вас играть по существующим правилам. Вы — человек нормальный и должны понимать, что не в наших с вами силах изменить что-либо. Обещайте мне.

Пациент обещал...

Что же до меня, то в первые годы работы в библиотеке я постоянно ощущала на себе начальственное око. Создавалось неприятное чувство присмотра, контроля. Боюсь, что и сегодня оно царит в обществе. Как досадно, работая с полной отдачей, замечать слежку. Обидно и то, что, проработав с пятнадцати до семидесяти лет, мои финансы поют романсы. Пели они и у моих родителей. Помнится, зимой, после смерти мамы к нам в квартиру позвонили люди, назвавшие себя погорельцами, и попросили что-нибудь из одежды. Я вынесла им мамино зимнее пальто. Нормальное пальто, тогда все в таких ходили. И что же? Его кинули мне в лицо, оскорбившись, что сую обноски.

Наверно, так оно и было. В нашей семье одежде всегда уделялось мало внимания. Но нет ли во мне некоторого лукавства?

«Нас мало избранных, счастливых праздных, пренебрегающих презренной пользой» — это не о нас, это о Моцарте, среди нас он не наблюдался... Меня окружали инженеры, чертёжники, бухгалтеры, машинистка и библиотекари. Последние на много лет стали моими спутниками. Некоторых вспоминаю отчётливо, вижу их взгляд, слышу голос.

Вот Зоя Арсеньевна Курехина. Строгая пожилая женщина с седым пучком на затылке. Окончила дореволюционную гимназию. Знала четырнадцать иностранных языков. Руководила библиографическим отделом Центральной научно-технической библиотеки пищевой промышленности. Это особенный отдел: здесь работали не только с советскими, но и иностранными книгами и журналами. Зоя Арсеньевна, прежде чем новый сотрудник занимал равноправное место в отделе, долго работала с ним, обучая особенностям перевода, знакомя с терминологией, тонкостями производства. Часами она сидела то с одним библиографом, то с другим в читальном зале и тихо, каким-то «пергаментным» голосом, разжёвывала, вбивала в голову, доводя мастерство своих подопечных до совершенства. Иногда выходила в коридор, где курила, держа в руках иностранный журнал. Время от времени одаривала нас бесплатными абонементом в Дом актёра. Там я впервые услышала Ахмадулину.

Антонина Борисовна, или, как библиотечарши называли её между собой, Антонина, заведующая абонементом, казалась мне очень советской. Пока меня не перевели в патентный отдел, я работала с ней, но так и не прониклась к ней ни уважением, ни симпатией. Впрочем, как и она ко мне. Директором библиотеки в то время был старый большевик, Александр Алексеевич Павлов, работавший когда-то с Крупской и собиравший пищевую библиотеку по крупицам. С ним сложились отношения благоприятные, и, пока его «не ушли» на пенсию, он мне покровительствовал.

Открывалась библиотека в восемь утра, и, что сейчас кажется удивительным, тут же, особенно в период зимней сессии, читатели устремлялись к кафедре, и в длинном коридоре, заставленном картотеками, выстраивалась очередь. Это время погони за книгами (как научными, так и художественными) — отличительная черта семидесятых-восьмидесятых годов прошлого столетия. И книжные разговоры.

С ностальгией вспоминаю то время, когда, суется у каталогов (алфавитный, систематический, предметный), помогала студентам, аспирантам и учёным мужам найти нужную книгу или статью. Небольшой читальный зал Центральной научно-технической библиотеки пищевой промышленности, в некоторые дни забитый до отказа, не отличался ни уютом, ни удобствами, но иногда, так как в отделах не хватало места, в нём, кроме читателей, работали сотрудники.

За выступом, около окна, редактировала библиографические указатели прочитавшая все возможные книги ещё в педагогическом, пышнотелая, с яркой помадой на губах Фира. В мои двадцать, она, тридцатипятилетняя, казалась мне пожилой. Мучнисто-белое зимой и летом лицо, чёрные с серебристыми прядками волосы, тёмное, летом — с красными цветами платье. Приходила ровно в восемь, уходила в пять. Тихая, необщительная. Иногда, во время обеденного перерыва, мы встречались в «стекляшке», где за двадцать копеек подавались две оладьи и стакан чаю. Тогда-то я и узнала, что живёт Фира одна, в коммуналке, в квартире ещё одна чужая семья. «У них дочка, такая милая,

а как наденет костюмчик лыжный, он так ей идёт, к ней заходят приятели, и пока она собирается, я выхожу из своей комнаты и любуюсь на них, молодых, симпатичных». Как-то, когда она рассказывала о своём сыне, как всегда, спокойным и невыразительным голосом, я случайно дотронулась до её руки, ледяной и влажной. «Сын живёт с мужем, мы в разводе. У него жена очень хорошая, они мне сына иногда в выходной привозят, но ему у меня скучно, побудет немножко и звонит отцу, чтоб забрал. Летом с родителями мужа на даче или на юг с ним ездят, иногда в поход. Хорошо, я довольна. А я бы куда его дела?! Я одна, никуда из Москвы не езжу, а то съешь что-нибудь, потом на больничный, нет, я в Москве». И так мне становилось, глядя на Фиру, грустно, что иной раз могла бы в эту «стекляшку» и не ходить, а пойти с девчонками в столовую или попить чайку в хранилище на подоконнике, но мне казалось, что Фире будет приятно, если я пойду с ней...

Чуть позже Павлов перевёл меня на должность библиографа-патентоведа, убедив в том, что за патентами будущее.

Создание отраслевого патентного фонда в те годы считалось делом государственным, поскольку СССР по производству продукции, в том числе пищевой, выходил на мировой уровень. Помнится поездка на Ленинградский вокзал, где в багажном отделении пришлось получать в металлических ящиках километры патентных описаний всех стран мира, переведённых на микроплёнку. В мои задачи входило эти километры перевести в отдельные файлы и создать к ним каталог. К сожалению, качество микроплёнки оставляло желать лучшего и порой, чтобы прочесть написанное, приходилось вооружаться лупой. Но иногда и это не помогало. К тому же в библиотеке не нашлось более подходящего помещения для их хранения, чем жаркий сухой подвал, и, как я полагаю, после моего перехода на другое место работы их жизнь закончилась. Во всяком случае, пережить девяностые им точно не удалось: библиотечные помещения стали сдавать коммерсантам, и полетел вон не только патентный фонд, но и алфавитный, предметный и систематические каталоги... Но тогда судьба моих плёнок была ещё неизвестна, и я старалась! Сидела за специальным аппаратом для чтения микрофильмов и лишь изредка поднимала голову, чтобы взглянуть в окно, где гремели и звенели трамвайчики, спешили к остановке пассажиры, тащились из школы «Зои и Александра Космодемьянских» ученики.

Однажды я увидела за окном пожилую женщину, переходящую через рельсы, и двух, распознанных от неё по проезжей части, мальчишек. У одного, лет шести, толстенького, развязался шнурок на ботинке, и он пытался его завязать. Трамвай уже отходил от остановки, а карапуз, увлечшись, кажется, не замечал его. В это время женщина, схватив старшего за руку, рванула к младшему... Все закончилась благополучно, но почему-то у меня возникло стойкое ощущение, что я подсмотрела сценку из своей будущей жизни. Вскоре я вышла замуж, родила сыночка.

Как-то в мае, когда я выписалась из роддома, меня навестила Фира. В руках она держала авоську. Сквозь сетку торпорчился бурый кулёк; из него высыпались небольшие желтоватые яблоки, с коричневатой кожей у плодоножки, и раскатились по полу.

Мы ползали и собирали антоновку, передавая яблоки друг другу. Время от времени наши пальцы соприкасались, и я чувствовала тепло Фириных рук.

### Мемуар 13. У АБРИКОСОВОЙ

Наш флигелёк выходил окнами во двор передний, тополиный, и задний, за которым находились детские ясли, окружённые забором из металлических прутьев. Дети жались к ограде, всматривались в прохожих, надеясь среди чужих лиц увидеть родные. Как-то выкатился мне под ноги мяч.

— Тётя, подайте мяч!

Так впервые стала тётей. Слово удивило, всё казалась себе девочкой.

Пошла дальше, считая шаги. Мимо водопроводной колонки, школы, Менделеевки, Высшей партийной школы (Институт Шаняевского, здесь учился Есенин и бабушкина сестра Оля), через сквер наискосок.

Под платьем тогда уже торчал острый бугорок, пришла пора готовиться к тому, что скоро вечерний моцион превратится в поход за ребёночком.

На углу 2-й Миусской и Александра Невского с 1906 года — родильный дом имени Абрикосовой. В моё детородное время он носил имя Н.К. Крупской, и про жену известного предпринимателя и фабриканта А.И. Абрикосова, основавшего во второй половине XIX века «Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова и сыновей» (ныне концерн «Бабаевский»), обыватели вроде меня и знать не знали. Его жена, Агриппина Александровна, слыла женщиной необыкновенной. Построив деревянный приют для рожениц, родила в нём двадцать детей и, умирая, завещала крупную сумму для пост-

ройки нового родильного дома. Строгое здание в стиле модерн («венский сецессион»<sup>1</sup>), по проекту И.И. Шица, оборудованное по последнему слову медицинской науки, хорошо известно москвичам и в своё время производило фурор.

Но в начале семидесятых годов прошлого века, внутри здания уже чувствовался упадок. Душ в приёмном отделении работал неисправно; металлические краны, местами со следами ржавчины; стены, покрашенные масляной краской, бывшей когда-то желтовато-бежевой, — всё напоминало Селезнёвские бани, куда ходили многие из нашей округи, не имея дома ни ванны, ни душа. Приёмное отделение небольшое, темноватое, здесь колер голубовато-серый. Родильное отделение для нескольких рожениц, лепестками уложенных друг против друга. Полагаю, врачам это было удобно. Послеродовые палаты большие, мест на пять-десять, высокие потолки. Новорожденных, запелёнатых так туго, что напоминали брёвнышки, развозили по коридорам на специальных каталках. Потом сестрички, подхватив парочку, а иногда и больше, сколько подхватится, вручали мамам. Помню, одна из них пошутила: мне досталась чужая дочка, а моей соседке мой мальчик. С испугом мы всматривались в детские личики.

— Что с ней? — вскрикнула, не выдержав напряжения, моя соседка.

— И с моим тоже что-то случилось, — пролепетала я.

— А что вам не так? — спросила сестричка. — Вроде всё в порядке. Личики чистые, глазки, носик — на месте.

— Она какая-то некрасивая!

— Да, и мой тоже.

— Ну, а так лучше? — поменяв детишек, засмеялась медсестра.

Обрадованные, заулыбавшиеся, мы прижали своих детишек к сердцу, и напряжившиеся от счастья груди брызнули молочком, оросив родные мордашки.

Старшему сыну, рождённому в предпоследний день тёплого мая, повезло. А вот младшему не очень, поскольку январь в тот год лютовал.

«Однажды я почувствовал странное волнение, что-то давило на меня, будто выбрасывая из привычного мира. Ощувив сильное напряжение внутри, рванувшись, моё тело понеслось куда-то. Тугой жгут, обвив грудь и шею, не пускал, пытался удержать, но не было такой силы, которая могла бы помешать движению. Нечто, накопившееся во мне, вырвалось во время полёта горбатой струёй жидкости, которая не помешала поймать моё тело.

Что-то холодное вошло внутрь, обожгло и тут же вдохнулось резко, каким-то незнакомым звуком, который потом станет моим голосом.

Кто-то уверенно подхватил меня, и тут же хлынуло в меня нестерпимо яркое, больно резанув глаза. Почувствовался едкий неприятный запах, он наполнял всё вокруг, раздались незнакомые резкие звуки, чужие голоса ... Вдруг всё смолкло... Погас яркий свет...

Лежу на холодном и жёстком, голова заваливается куда-то набок, всё тело сдавлено так, что невозможно пошевелиться. Но самое главное — нестерпимый мороз. Я чувствую, что замерзаю. Руки, ноги, тело ещё недавно такие мягкие, казались одеревеневшими, глаза, в которые брызнули что-то, сначала лишь смутно различали грязно-белые стены, потолок. Неожиданно взгляд останавливается на каком-то странном предмете, который стоит недалеко от того места, где лежу я. На нём под таким же белесо-сером, как то, что сдавливает меня, замечаю слабое движение, слышу тихий стон... я узнаю в нём привычное и родное. Почему мы не вместе?

Волнение. Дрожь...

И тут же рядом раздаётся другой звук, удаётся перевести глаза, и замечаю совсем рядом с собой, нас разделяет что-то тонкое и прозрачное, крошечное взъерошенное существо, которое весело стучит по этому прозрачному и, слегка наклонив голову и блестя округло-чёрным, показывает мне на другой белый, жемчужный, переливающийся свет, мягкий, нежный... Там, за прозрачным, откуда идёт холод. Потом его сменяет большое расплывающееся от прикосновения с этим прозрачным лицо. На меня смотрят, меня разглядывают. Смотрю и я и будто узнаю... Мне становится спокойно... Потом какой-то скрип, кто-то берёт меня на руки и уносит. Устал, засыпаю... Я буду долго спать, и тот холод, который вошёл в меня будет долго мучить дрожью, болью... Пока не настанет жаркое лето<sup>2</sup>...»

Да, новорожденного положили на подоконник из мраморной крошки и ушли на обед.

<sup>1</sup> Венский сецессион (нем. Wiener Secession / Sezession, от лат. secessio — отделение, уход) — выставочное и творческое объединение молодых австрийских художников, выступивших в эпоху Fin de siècle (ар нуво) против рутинности академического искусства. Благодаря деятельности художников объединения венский вариант модерна также называют Венским сецессионом.

<sup>2</sup> Миниатюра «Предисловие», автор Нана Белл (Нина Кромина).

Я лежала тут же на родильной кровати, придуманной зятем Абрикосовой, доктором Рахмановым, не смея подойти и забрать ребёнка к себе, прижать, согреть, потому что не положено, потому что «не вздумай вставать».

В начале апреля с подозрением на воспаление лёгких сына положили в больницу. Я приходила к нему рано утром, когда он, повернув головку в сторону стеклянной стены, уже выглядывал меня, и уходила поздно вечером. В боксе, где он лежал, находилось ещё трое детей: восьмимесячная Рая, годовалая Наташа и двухлетний Саша. Они считались взрослыми, и мам им не полагалось. Не полагалось им и спускаться с кроваток. Раечка и Наташа часто плакали. Когда у меня оставалось время от мойки полов и квочтанья над сыном, я пыталась утешить их, но и это не полагалось: «Приучите, а что нам потом с ними делать. У нас их целый коридор». Как-то, вернувшись с уборки коридора во время детского обеда, я увидела, как Раечку медсестра (нянечек тогда уже отменили) посадила на высокий детский стульчик и стала кормить. Девочка извивалась, крутила головой, зажимала рот, но опытная в этих делах медичка впихивала в неё ложку за ложкой. Время от времени Раечку тошнило, но делу это не мешало: что из девочки вышло, вливалось обратно. Наташу не кормили, она, отвернувшись к стенке, плакала громко и протяжно. Саше поставили еду на кровать, и он, поставив тарелку между ног, уже стучал алюминиевой ложкой о дно. Саша мне нравился, он почти не плакал, часто всем улыбался, лепетал. Как-то утром, оглядываясь по сторонам, как бы кто не увидел, в палату зашла незнакомая женщина в белом халате, протянула Саше шерстяные носочки — рябенькие, домашней вязки — и тут же исчезла. Саша носочки схватил, прижал их к щёчкам и, счастливо улыбаясь, зашептал: «Мама, мама». А потом долго и смешно, будто напоказ, целовал их.

В этот же день, распахнув двери, вкатились в наш бокс с тазами и тряпками белые халаты. Они сдёрнули старую бумагу, которой на зиму заклеивают окна, впустили ещё прохладный воздух, звук улицы и, весело переговариваясь, принялись смывать московскую зиму, разбрызгивая её по полу. В город пришла весна и День космонавтики, о котором я напрочь забыла. И только когда стемнело, раздался залп, и небо раскрасилось, заискрилось, я вспомнила о празднике. А дети заплакали. Наташа, у неё кровать без сетки, с криком «Мама, мама!» побежала в коридор. Её отловили, привязали к кровати и сделали укол. Плакал и Саша, потому что у него поднялась температура...

Утром следующего дня, я, узнав, что рентген, который сделали накануне, воспаления лёгких не показал, схватила сына и из больницы сбежала.

Летняя жара тысяча девятьсот семьдесят второго года сына прогрела. Он нежился в манеже, выставленном в палисадник съёмного деревенского дома в ближайшем Подмосковье и, держась за деревянные рейки, пытался сохранять равновесие.

#### Мемуар 14. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Когда я вернулась из второго декретного отпуска, последовавшего почти сразу же за первым, Фира уже не работала в пищевой библиотеке. А меня ждал подарок: местному профсоюзу удалось выхлопотать для нас с мужем и детьми две комнаты в коммунальной квартире на Донской улице, в самом начале Ленинского проспекта. Конечно, хотелось квартиру, но отказаться от комнаток я не могла, поскольку мы жили в том самом закутке-выгородке, где когда-то обитал дед. А родители и брат получили квартиру через шесть лет, в которой отец прожил лишь три дня. Полинину отцу, тоже фронтовику, был отмерен в новом жилье такой же срок. А Максиму Егоровичу, нашему соседу, и вовсе не довелось переехать. Мне до сих пор жаль фронтовиков, теснившихся в скудных коммунальных хибарах с холодным туалетом, без горячей воды и ванной комнаты. Многие из них вернулись с фронта больными, состарились и умерли раньше отпущенного природой времени.

Да, жилищный вопрос не только испортил москвичей, но многим оказался не по зубам. Так было и в советские годы, и всё более жёстко бьёт по ним сегодня. Гигантские стройки Москвы привлекают людей со всего бывшего СССР, квартиры скупают ещё до окончания строительства, но многие москвичи продолжают жить в тех самых квартирах, которые предоставило им советское государство. Дедушки, бабушки, папы, мамы, их дети, у которых уже рождаются свои дети — все вместе...

Недавно, в две тысячи двадцать первом году, Владимир Владимирович Путин заявил, что жилищный вопрос в России впервые за всю историю может быть решён. Остаётся верить в это так же, как когда-то верили, что современное поколение советских людей будет жить при коммунизме.

*Продолжение следует*